

*Şener Aktürk. Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia and Turkey. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2012. 306 p. (Series: Problems of International Politics)*

**Н**ачну рецензию на книгу «Режимы этничности и государственности в Германии, России и Турции» фразой, которой тексты такого жанра принято заканчивать: несмотря на некоторые недостатки, эту книгу стоит как можно скорее перевести на русский язык. Проблемы, обсуждаемые турецким политологом и историком Шенером Актюрком, принадлежат к числу самых горячих и болезненных для России — а концепция, предлагаемая им, дает возможность нового, весьма продуктивного их изучения и решения.

Общая идея книги довольно проста. Одним из важнейших методов управления культурным разнообразием и разнообразием идентичностей в современных государствах является режим этничности, показывающий, как именно государство — на уровне законодательства и публичных деклараций — соотносит гражданство и этничность. Актюрк вводит и сам термин «режим этничности» и предлагает типологию таких режимов. Их автор насчитывает три, подразумевая, что это закрытая классификация, то есть что других типов в современном мире не бывает.

1) Моноэтническое государство, то есть классическое для Нового времени национальное государство. Его власти предполагают, что оно создано для определенного, чаще всего — титульного этноса. Представителей других этносов такое государство объявляет «национальными меньшинствами» с особым статусом или отказывается признавать гражданами. Недостатки такой модели с точки зрения прав человека очевидны.

2) Антиэтническое государство, которое принимает в гражданство всех живущих на его территории. Недостаток антиэтнических государств состоит в том, что они могут

отказываться предоставить меньшинствам культурные права. Например, в таких странах иногда запрещается использование в публичной сфере любых языков, кроме официально принятого, или символов, указывающих на партикуляристское обособление групп и общин. Таков, например, запрет на религиозно маркированную одежду в школах Франции.

3) Мультиэтническое государство, в котором гарантированы права всех этнических меньшинств и граждане равноправны. Неочевидный недостаток таких государств состоит в повышенном внимании к этничности своих граждан.

Примерами государств этих трех типов Актюрк считает соответственно Германию (моноэтническое), Турцию (антиэтническое) и СССР (мультиэтническое). Режим этничности в каждой из этих стран — и, по предположению Актюрка, в любой стране — является важнейшей частью политической культуры. Эти три страны интересны потому, что во всех трех режим этничности изменился в конце XX или начале XXI века.

Германия (сначала Западная, а затем объединенная) на протяжении 1960–1990-х годов отказывалась давать гражданство все более многочисленным гастарбайтерам из Турции, Италии, Югославии и так далее. При этом консервативные политики и журналисты объясняли, что Германия — «не страна иммиграции», в отличие от США, и что немецкими гражданами могут быть только люди, объединенные «общностью судьбы» (устоявшийся термин немецкой политической риторики). Эти представления опирались на закон о гражданстве 1913 года, сохранявший силу и в Веймарской республике, и во время правления нацистов, и в послевоенной ФРГ.

Однако в 1999 году был принят новый закон о гражданстве<sup>1</sup>, благодаря которому стало возможным и массовое принятие в гражданство гастарбайтеров, и все более активное участие политиков не немецкого происхождения (например, этнических турок) в германских органах земельного и федерального управления. Таким образом, произошел переход от моноэтнического режима к антиэтническому.

В Турции государство еще со времен его основания Мустафой Кемалем Ататюрком принимало в гражданство всех турок и/или верующих мусульман, но отказывалось признавать культурные особенности курдов, алевитов<sup>2</sup>, заза, армян и других меньшинств. Официозные турецкие социологи и этнологи еще в 1980-е годы доказывали, что курды — это просто особая группа турок. Первая курдянка — депутат турецкого Национального собрания Лейла Зана в 1994 году была арестована и приговорена к 10 годам тюрьмы за речь на курдском языке с парламентской трибуны. В 2004–2009 годах, однако, эта ситуация резко изменилась: сначала было разрешено радио- и телевидение на языках национальных групп Турции (курдском, армянском, зазаки<sup>3</sup> и других), а в 2009 году был открыт даже первый курдский телеканал. В том же году правительство Реджепа Тейипа Эрдогана провозгласило политику «демократической открытости» меньшинствам. Все эти меры могут быть охарактеризованы как переход от антиэтнического к мультиэтническому государству.

В СССР, по мнению Актюрка, мультиэтнический режим поддерживался при помощи двух главных мер: федеративного устройства страны и строки «национальность» в паспорте. Обязательное указание национальности было необходимо, в частности, для репрессий против «неугодных» этносов и в целом для проведения политики в духе «разделяй и властвуй». В 1997 году, уже в постсоветской России, «пятый пункт», указывающий на

национальность в паспорте и официальных анкетах, был отменен. Этот значимый шаг, как полагает исследователь, свидетельствовал о начале перехода от мультиэтнического режима к антиэтническому.

Во всех этих трех случаях изменению подверглись важнейшие, не менявшиеся несколько десятилетий принципы государственного управления. До этого интеллектуалы и (в Западной Германии и Турции) политическая оппозиция трех стран много и безрезультатно критиковали эти принципы, так что нельзя говорить о том, что сама возможность изменения режима этничности была для политических элит в новинку. Обсуждая эти сдвиги, Шенер Актюрк вступает в бурно ведущуюся сегодня дискуссию о *path dependence* — фатальной зависимости политической и экономической культуры страны от ее предшествующего развития. Актюрк показывает — и прямо об этом говорит — что, по крайней мере, в таком важном пункте, как режим этничности, «зависимость от пути» преодолима. Но такое изменение дается чрезвычайно трудно и требует целого ряда условий.

Сравнивая три трансформации, Актюрк показывает, что во всех этих случаях воспроизводятся общие структурные черты. К власти должны прийти представители группы, прежде находившейся в оппозиции. Их перевес во влиянии над прежними «властителями дискурса» должен быть очень значительным. У этих новых правителей должна быть своя, выработанная прежде идеология этничности. В Германии такой идеологией стало представление о стране как об общем доме разных этнических религиозных групп, выработанное социал-демократами, левыми либералами из Свободной демократической партии и «новыми левыми» (прежде всего, Партией «зеленых») в 1970–1980-е годы. В Турции — концепция исламского мультикультурализма, актуализированная турец-

кими «евроисламистами», прежде всего, из Партии справедливости и развития, которая пришла к власти на выборах 2002 года и сохраняет парламентское большинство до сих пор. В СССР и постсоветской России — идея наднациональной гражданской и культурной общности, которая прежде называлась в публичном языке «советский народ», а после 1991 года — «россияне».

Исследование Актюрка основано на результатах анализа публичных дебатов — прежде всего, прессы и протоколов парламентских заседаний — и огромном корпусе интервью, которые он взял во всех трех странах у политических и общественных деятелей и экспертов.

Книга Актюрка имеет для России очень большое общественное и научное значение.

Ее общественное значение состоит в том, что эта работа дает концептуальную и сравнительную «рамку» для обсуждения проблем, связанных с трудовой миграцией и этническими диаспорами — в общем, с теми, кого принято называть «понаехавшими». В России эти дискуссии большей частью неконструктивны, а во время кампании по выборам мэра Москвы летом 2012 года, когда все кандидаты эксплуатировали «мигрантскую» тематику, и вовсе приблизились по своему градусу к коллективной истерике. Особенно выразительны разделы книги, посвященные Западной Германии 1970-х — начала 1980-х — тамошний консервативный дискурс о гастарбайтерах был до слез похож на нынешний российский. В 1982 году правые интеллектуалы ФРГ обнародовали Гейдельбергский манифест<sup>4</sup>, в котором жаловались, что из-за нашествия людей с другой культурой чувствуют себя иностранцами в собственной стране, утверждали, что мигранты угрожают немецким культурным и религиозным нормам и призывали к возрождению немецкой семьи. Если заменить географические реалии, вероятно, в современной России под таким документом

охотно подписались бы этнонационалисты в диапазоне от Александра Проханова до Константина Крылова. Но очень важны и отличия. В ФРГ в дискуссии было очень мало «слепых пятен», политики и журналисты обсуждали все детали правового, культурного и экономического статуса мигрантов. В российских спорах полным-полно умолчаний. В ФРГ были политики, готовые пойти против консервативного общественного мнения. Актюрк приводит парламентскую речь 1984 года молодого тогда депутата Бундестага от Партии «зеленых» Йошки Фишера — как известно, впоследствии ставшего одним из влиятельнейших немецких политиков. Фишер заявил тогда под крики и оскорбления правых, что процесс иммиграции из менее развитых стран в ФРГ неостановим, надеяться на его прекращение — значит, сеять в обществе ксенофобию и что отказ от предоставления переселенцам гражданских прав порождает «...уголок Южной Африки [то есть режима апартеида] в политическом и общественном устройстве Федеративной Республики». Трудно себе представить сколько известного российского политика, который решится выступить с подобными заявлениями в Государственной думе или на митинге «несистемной оппозиции». Представьте, например, человека, готового публично заявить, что нынешняя эксплуатация мигрантов аморальна, а визы в отношениях со странами Средней Азии вводить нельзя, потому что это приведет только к повышению коррупции и к новым притеснениям ни в чем не повинных людей, а единственный выход — предоставить мигрантам из стран Средней Азии гражданство и выделить большие деньги на государственную программу их интеграции.

В ФРГ точка зрения Фишера победила — и в результате в этой стране, несмотря на сложности с мигрантами, все же пока не было волнений в этнических районах мегаполисов, подобных парижским или лондон-

ским, а большинство призов на кинофестивалях за немецкие фильмы получают режиссеры турецкого происхождения.

Книга Актюрка, на мой взгляд, имеет и серьезное научное значение — по двум причинам.

Во-первых, турецкий политолог фактически предлагает новый вариант развития сравнительной транзитологии (СТ). До недавнего времени считалось, что СТ изучает разные траектории перехода от авторитарного режима (преимущественно «социалистического») к демократическому. Начиная с конца 1990-х транзитологи сетуют, что бывшие авторитарные общества сохраняют ряд специфических черт, так что непонятно, считать ли их состояние временным или оно теперь установилось надолго<sup>5</sup>. Актюрк показывает, что транзитология может быть совсем другой, потому что «фазовые переходы» в политической истории далеко не сводятся только к трансформации авторитаризма под социалистическими лозунгами — в «демократию вообще». Во-вторых, концепция режимов этничности позволяет создать новый — сугубо политологический — путь для изучения управления разнообразием (УР) в многонациональных обществах. Сегодня главной парадигмой для интерпретации УР являются имперские и постимперские исследования (*Imperial and Post-Imperial studies*). Подход Актюрка дополнителен по отношению к ним.

Три обсуждаемых Актюрком государства можно сопоставить не только по недавним изменениям режима этничности, но и по другим критериям. У всех этих стран в «анамнезе» есть революция, приведшая в конце 1910-х — начале 1920-х к установлению республиканской формы правления. Все они пережили период организованного властями геноцида: Германия — в нацистский период, Турция — в период возникновения государства, СССР — в ходе «раскалывания» и массовых депортаций 1930–1940-х годов, если не

обсуждать Голодомор. Память об этих событиях делает дискуссии о «режиме этничности» особенно напряженными и болезненными, придает им травматическую «подсветку». Турецкие власти не признают геноцидом террор против армян, ассирийцев и греков в 1915 году, однако турецкое общество о нем помнит — о чем ярко говорит массовая реакция либералов на убийство журналиста-армянина Гранта Динка в 2007 году. У двух из трех стран — имперское прошлое: кемалистская Турция возникла на обломках Османской империи, СССР был своего рода «переформатированным» вариантом Российской империи, наследующая ему постсоветская Россия сохраняет значительную часть имперских черт.

Главный недостаток книги, как ни странно, заключается в логичности и красоте предложенного подхода. Политические и социальные процессы почти никогда не зависят от какого-нибудь одного фактора, а Актюрк пишет так, как будто ничто, кроме описанного им конфликта элит и их дискурсов, на режим этничности не влияет. Конечно, «постимперским» подходом всего не объяснишь, но и совсем отказываться от него слишком рискованно. И в Турции, и в России управление разнообразием было на протяжении столетий важнейшей функцией государства. Апелляции к этому опыту — положительные или отрицательные — используются в публичных дискуссиях до сих пор — по крайней мере, в России, где, например, националисты разного толка, от умеренных до крайних, то и дело утверждают, что русские, украинцы и белорусы составляют якобы один народ. Как известно, эта мысль, развитая еще в «Синописе», приписываемом архим. Иннокентию (Гизелю)<sup>6</sup> (ок. 1600–1683), впоследствии послужила обоснованием для запрета использования украинского языка в XIX веке<sup>7</sup>, хотя русская либеральная интеллигенция уже тогда не соглашалась с подобной унификацией. Второй фактор, который

в книге практически не упоминается, — это политическая концепция мультикультурализма, очень влиятельная в Европе и США в 1990-е годы. Ее влияние, по-видимому, отчасти сказалось на преобразовании режима этничности в Германии и особенно в Турции, руководство которой долгие годы стремилось вступить в Европейский союз и ориентировалось на европейские практики поощрения культурного многообразия<sup>8</sup>. Актюрк вводит парадоксальный для европейского уха термин «исламский мультикультурализм». Обычно принято считать, что мусульмане (в Европе) — скорее объекты мультикультуралистской политики, чем ее субъекты. Автор книги объясняет, что в конце 1990-х в Турции основой для «мультикультуралистского» консенсуса умеренных исламистов и светских политиков стали ссылки на *Medina Contract* — так называемую Мединскую конституцию 622 года<sup>9</sup>, документ, составленный пророком Мухаммадом и предоставляющий иудеям юридическую автономию в создававшемся тогда исламском государстве. Однако вопрос о влиянии европейского мультикультурализма на эту концепцию Актюрк все-таки не обсуждает.

Выстраивая свою схему, Актюрк полагает, что этничность во всех анализируемых им странах осмыслялась одинаково или, во всяком случае, сходно. Согласиться с этим трудно. В послевоенной Западной Германии этничность понималась — и понимается в нынешней объединенной Германии — как явление прежде всего культурное, в Турции — культурное и/или религиозное, в СССР — как биологическое. В Германии до принятия закона о гражданстве 2000 года «турок» — это, чаще всего, переселенец из Турции, сохраняющий ее гражданство, мусульманское вероисповедание и ряд бытовых привычек, или сын/дочь такого переселенца. В Турции «курдом» называют человека, который говорит по-курдски и настаивает на признании

своего права говорить на этом языке, а «але-витом» — человека, который требует признания прав на отправление особого религиозного культа. Однако в СССР «евреем» могли называть человека, говорящего и думающего по-русски, не исповедующего иудаизм (или даже верующего православного), на основании того, что оба его родителя или один из них были записаны в паспорте и анкетах как «евреи».

Решающим моментом в истории советского режима этничности Актюрк считает 1932 год, когда в паспортах граждан СССР появилась графа «национальность». В действительности таких моментов было два. Помимо упоминаемого им постановления 1932 года «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов», был еще секретный циркуляр НКВД № 65 от 27 апреля 1938 года, обязательный для исполнения всеми ЗАГСами — отделами записи актов гражданского состояния. Этот циркуляр определил, что граждане СССР не имели права выбирать свою этническую принадлежность (кроме детей от смешанных браков). С момента выхода циркуляра № 65 этничность могла определяться только по «национальности» родителей и только из закрытого списка национальных групп СССР (кроме редких случаев иностранной иммиграции)<sup>10</sup>. Циркуляр НКВД и заложил основы советского понимания национальности как расово-биологической характеристики, которая остается неизменной в течение всей человеческой жизни.

Актюрк замечает, что советское понимание этничности было «примордиалистским», но, кажется, не принимает во внимание, насколько значима эта особенность для его классификации. Я полагаю, что отмена графы «национальность» в паспортах России в 1997 году стала поворотом не столько к антиэтническому государству, сколько от биологического понимания этничности —

к культурному. Современное российское государство, по классификации Актюрка, сочетает черты мультиэтнического и антиэтнического, более того — как известно, разным структурным образованиям внутри РФ «дозволяется» различная степень культурной и политической самобытности. Поворот в понимании этничности произошел на уровне политических элит — в обществе во многом сохраняется советское, биологическое восприятие «национальности».

Для того чтобы показать, насколько своеобразной была советская политика этничности, нужно обсудить еще один аргумент Актюрка. Автор книги полагает, что дискурс «советского народа» как единой общности был принят на вооружение в конце 1950-х годов Никитой Хрущёвым и стал конкурирующим по отношению к ранее появившейся политике «обязательной этничности». Актюрк подробно пишет о советских этнографах, которые доказывали, что национальные группы в СССР сближаются и сливаются в «новую наднациональную общность — советский народ». Исследователь предполагает, что концепт «советского народа» давал возможность для нового — сугубо гражданского, а не этнического — определения советской идентичности и что Хрущёв даже планировал отменить графу «национальность» в паспорте. Но эта радикальная идея генсека принята не была, а понятие «советского народа» использовалось в официальной советской риторике постоянно — и вполне мирно уживалось со столь же активным использованием «пятого пункта».

По-видимому, дискурс «советского народа» и биологическое понимание национальности, в отличие от анализируемых Актюрком случаев Германии и Турции, находились в отношениях не конкуренции, а функциональной дистрибуции.

Саму идею «советского народа» придумал Николай Бухарин и обосновал ее в своих ста-

тях 1935 года, направленных на пропагандистское обеспечение будущей «сталинской» конституции 1936 года, устанавливавший не пролетарскую диктатуру, а «общенародное государство»<sup>11</sup>. (Впрочем, социальное происхождение, вроде бы потерявшее значение по этой конституции, в советских паспортах указывалось наряду с национальностью до 1974 года. Тогда были введены внутренние паспорта нового образца, которые впервые могли получить все граждане СССР, а не только горожане<sup>12</sup>. Актюрк неточно связывает это новшество с советской конституцией 1977 года.) Окончательно термин закрепился в том же 1938 году, в котором Бухарин был расстрелян: Василий Лебедев-Кумач в стихах для появившейся тогда пропагандистской песни «Если завтра война» писал: «Как один человек, весь советский народ / За свободную Родину встанет».

Определение «советского народа» венчало пирамиду советских этнических категорий, которые были в официальном дискурсе упорядочены иерархически. СССР был организован не как классическая федерация или конфедерация, но как своего рода территориальная пирамида, в которой были образования «главные» — союзные республики, «подглавные» — автономные республики и «совсем подподглавные» — автономные области и еще более скромные автономные округа, и все это — среди «не-национальных» областей и краев. «Советский народ» как «новая наднациональная общность» надстраивался над этой пирамидой как самая верхняя, умопостигаемая ее категория.

В 1960–1970-е годы, по-видимому, категория «советского народа» использовалась в пропаганде для апелляции к единству всего общества, основанному на тотальном большевистском проекте модернизации для всех структурных единиц СССР, то есть термин был нужен для отграничения СССР от других обществ. «Национальная» риторика была необходима во многом для демонстрации вну-

тренного разнообразия и самодостаточности этого большого единства. Паспортное определение национальности — непосредственно для практик управления разнообразием, основанных на избирательных ограничениях и предпочтениях для разных этносов. Таким образом, апология «советского народа», прославление его разнообразия и паспортное определение национальности относились к разным функциональным сферам политической категоризации, но совершенно не исключали друг друга, а скорее дополняли.

Все эти замечания, как мне кажется — не буквоедство: они показывают, что логика Актюрка работает лучше всего при анализе «нормальной» публичной сферы европейского образца. В СССР же она была искажена; законы могли быть написаны не для исполнения, а для пропагандистского эффекта, а очень важные для общественного развития дискурсы вообще могли существовать практически вне советского публичного поля — как, например, родившийся в 1960-е годы интеллигентский дискурс религиозной идентичности. Этот дискурс, одновременно более универалистский, чем советская пропаганда и более партикуляристский, чем она, во многом противостоял идее «советского народа», и практике определения националь-

ности «по папе и маме». По-видимому, после легализации религиозной жизни на рубеже 1980-х — 1990-х он повлиял на постсоветскую трансформацию представления об этничности из биологического в культурное.

Эти «сбои» предложенного Актюрком метода показывают, что изучение управления разнообразием в современных государствах не могут быть решены только методами политологического анализа парламентской и партийной практики или методами социологии элит. Обычно эти проблемы решаются преимущественно с помощью истории управленческих практик и интеллектуальной истории. Книга турецкого политолога, как это часто бывает при рождении новой научной парадигмы, «перегибает палку в другую сторону» по сравнению с прежними подходами.

Из его работы следует, что именно политология позволяет соединить в изучении управления разнообразием сиюминутную современность и историческое прошлое — и показать, как они связаны и в чем разделены. Возможно, эта чуть схематичная по подходу и в то же время очень добросовестная и масштабная по историческому видению книга свидетельствует о рождении нового научного направления. ■

**ИЛЬЯ КУКУЛИН**

**ПРИМЕЧАНИЯ** <sup>1</sup> Строго говоря, этот акт — не закон о гражданстве, а закон о внесении поправок в закон 1913 года. Он вступил в силу с 1 января 2000 года.

<sup>2</sup> Алевиты (*Alevi*) — большая (несколько миллионов человек) религиозно обособленная этнокультурная группа в Турции. Турецкие алевиты в быту и богослужении пользуются турецким и курдским языками. Вероучение алевитов предполагает совместную молитву мужчин и женщин. Религиоведы считают его особой ветвью шиизма, но сами алевиты себя шиитами чаще всего не признают. Актюрк, обсуждая турецкие режимы

этничности, рассматривает алевитов как своего рода квазиэтнос. Алевитов нельзя путать с алавитами — еще одной религиозной группой в странах Ближнего Востока, также, вероятно, генетически восходящей к шиитам и играющей большую роль в нынешних событиях в Сирии. В вопросе о том, насколько родственны алевиты и алавиты и какое отношение они имеют к другим толкам ислама, испытывавшим влияние христианства — например, бекташи — нет единого мнения ни среди религиоведов, ни среди этнографов, но у Актюрка слово *Alevi* имеет точный смысл: оно обозначает одну из этнокультурных общин нынешней Турции, имею-

щую достаточно ясно выраженное групповое самосознание.

<sup>3</sup> Зазак — язык заза, народа, живущего на востоке Турции в верховьях Тигра и Евфрата. Как и курдский, принадлежит к иранской группе.

<sup>4</sup> Опубликован в газете *Frankfurter Rundschau* от 4 апреля 1982 года.

<sup>5</sup> См. дискуссии в статьях: *Wiarda H.J.* Southern Europe, Eastern Europe, and Comparative Politics: Transitivity and the Need for New Theory // *East European Politics & Societies*. 2001. Vol. 15. No 3; *Gans-Morse J.* Searching for Transitivity: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm // *Post-Soviet Affairs*. 2004. Vol. 20. No. 4.

<sup>6</sup> Другим возможным автором «Синописа» историки называют современника Гизеля Ивана Армашенко (*Чистякова Е.В.* Синопис // *Вопросы истории*. 1974. № 1. С. 215—219).

<sup>7</sup> Этот язык считался крестьянским диалектом русского языка, «испорченным» якобы под польским и австрийским влиянием.

<sup>8</sup> Я не разделяю представлений, высказанных Ангелой Меркель, Дэвидом Кэмероном и другими представителями европейских политических элит — о том, что мультикультурализм якобы в 2000-е годы потерпел крах. В действительности в ходе событий 2000-х была дискредитирована другая концепция, ошибочно отождествлявшаяся с мультикультурализмом — о возможности независимого сосуществования изолированных этнических и религиозных культур в современном обществе. Более подробно

см., например: Multiculturalism: Mr. Cameron's Crude Caricature Solves No Problems: The Prime Minister's Speech Disguises a Paucity of Coherent Thought // *The Observer*. 2011. Feb. 6 (<http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/feb/06/observer-editorial-multiculturalism-david-cameron>); *Banting K., Kymlicka W.* Is There Really a Retreat From Multiculturalism Policies? New Evidence From the Multiculturalism Policy Index // *Comparative European Politics*. 2013. Vol. 11. No 5. P. 577—598, и др. работы.

<sup>9</sup> Другое название в исламской и исламоведческой литературе на русском языке — Мединское соглашение.

<sup>10</sup> Об истории советского концепта «национальности» см.: *Кадио Ж.* Лаборатория империи: Россия / СССР, 1890—1940. М.: Новое литературное обозрение, 2010; *Портнов А.* «Национальность» как данность и как выбор (<http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-portnov/2162>).

<sup>11</sup> См., например: *Бухарин Н.И.* Героический советский народ // *Известия*. 1935. 6 июля.

<sup>12</sup> До 1974 года колхозники не имели права получить паспорт и уехать из своего колхоза — кроме особых категорий крестьян, например, живших в приграничных областях или в трех республиках Прибалтики, присоединенных к СССР в 1940 году. Подробнее см., например: *Жиринов Е.* Не имеют права на паспорт 37 процентов граждан // *Коммерсантъ-Власть*. 2009. 13 апр. (<http://www.kommersant.ru/doc/1147485>).



*Moises Naim. The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't What It Used to Be. N. Y.: Basic Books, 2013. 306 p. [Моисеес Наим. Конец власти: Почему быть у власти всюду — от советов директоров компаний до театров боевых действий и от церквей до государств — нынче стало совсем не то, что в прежние времена]*

**Б**ыть у власти нынче стало совсем не то, что в прежние времена, говорит Моисеес Наим, вынося это суждение на обложку своей книги. Действительно, кому же теперь не известно, что «жесткую власть» (принуждение), дескать, вытесняет «мягкая» (авторитет). Замечено, что в сфере власти у тяжеловесов руки все больше связаны, в то время как легковесы действуют намного оперативнее. От закосневших корпоративных «бегемотов» реальная власть уходит к энергичным новичкам, от окопавшихся во власти диктаторов — к толпам на площадях и в киберпространстве и т. д.

Но этим дело не ограничивается. Все это, продолжает Наим, лишь симптомы фундаментальной мутации власти, которую в XXI веке проще получить, но труднее использовать и легче потерять. Автор книги знает об этом из первых рук, потому что сам был министром (торговли и промышленности в правительстве Венесуэлы). Он также ссылается на других крупных функционеров власти, обладающих аналогичным опытом.

И суть не в том, что новые агентства власти вытесняют старые, а в том, что они лишают их оперативной свободы, которую те всегда считали гарантированной (с. 196–197). И это ничем не компенсируется. Власть именно не перераспределяется, а исчезает, становится стерильной, приходит в упадок, деградирует, *загнивает* (*is decaying*), умирает, клонится к закату, подходит к концу.

Власть автор определяет как «способность направлять или сдерживать в настоящем либо в будущем действия других групп или индивидов» (с. 23). Агентура власти опери-

рует, используя (1) принуждение, (2) закон и обычай, (3) внушение предпочтений, (4) вознаграждение (с. 72). Иными словами, агентура власти может действовать силой, воспитанием и промыванием мозгов, уговором или подкупом. Власть удерживается благодаря барьерам, мешающим соперникам (с. 10) получить доступ к ее инструментарию. Вот эти барьеры: режим выборов — от их полного отсутствия до скрытых ограничений избирательного права; контроль над армией и полицией, капиталом и другими ресурсами; бюджет на предвыборную кампанию; яркий бренд; моральный авторитет и личная харизма (там же).

До недавнего времени указанные барьеры оставались труднопреодолимыми, что делало власть «редким ресурсом». Вследствие этого она оставалась сконцентрирована в руках немногочисленных агентов — крупных организаций, централизованных и иерархичных. Это был триумф большого размера (формата), предсказанный, как напоминает Наим, Максом Вебером, который увидел в нем результат универсальной формальной рационализации и бюрократизации всего образа жизни (с. 41–42). Тот же процесс укрупнения модулей организованности Роналд Коуз (*Ronald Coase*) объяснил в чисто экономических терминах как экономию на масштабах (с. 43). Марксисты особо подчеркивали то, что рыночная конкуренция ведет к концентрации капитала и монополии (олигополии) и что это необратимый процесс. Влиятельными сторонниками такого представления в 1960-е годы были Чарлз Райт Миллс и Джордж Уильям Домхофф.

Общественное мнение под впечатлением наблюдавшейся долговременной тенденции к концентрации капитала и как будто бы убедительных объяснений этого явления в конце концов стало считать подобное представление аксиоматичным (*default assumption* — с. 50).

Между тем барьеры, позволявшие «бегмотам» сохранять монополию на власть, со временем становятся все менее надежными. «Власть и размер расходятся в разные стороны. И возрастающая неспособность крупных бюрократизированных модулей эффективно использовать власть меняет наш мир; микроагентуры власти (*micropowers*) изматывают, парализуют, размыывают, саботируют и обходят мегаагентуры (*megaplayers* — с. 52)».

Все это, по мнению Наима, происходит в результате «трех революций».

Первую он обозначает этикеткой «*More*» *revolution* (революция роста), имея в виду, что в мире всего становится больше (*more*) — растет число государств, их население, уровень жизни (*standards of living*), грамотность, количество производимых и потребляемых продуктов-товаров. С 1980-го по 2012 год всемирный средний класс вырос с одного до двух миллиардов человек. Грамотность к 1990-му достигла 75 проц., а к 2012 году составила уже 84 процента (с. 56). А «чем больше людей и чем они более благополучны, тем труднее ими распоряжаться» (с. 58). Инструменты принуждения теряют свою силу. Новая материальная реальность и лучшая информированность ограничивают сферу действия моральных самоограничений. Контроль массовых рынков не дает особых преимуществ, потому что в изобилии появляются экономически выгодные рыночные ниши, куда уходят как производители, так и потребители. Наконец, нащупать поощрительные стимулы становится сложно из-за того, что у адресатов стимулирования возрастет свобода выбора и трудно узнать, что они предпочитают и на какие стимулы будут реагировать. Короче «*More*» *revolution* одо-

левает (*overwhelms*) барьеры, затрудняя власти контроль и координацию (там же).

Вторую революцию Наим именует «*Mobility*» *revolution*, подразумевая все большую скорость и дальность перемещения людей, денег, идей, а также изменчивость ценностей (предпочтений). Нарастает размах миграций. Образуется новая беднота. Общество пополняется новыми не вполне инкорпорированными гражданами. Человеческий капиталы («мозги») все легче перемещаются в другие страны; впрочем, возвращаясь обратно с венчурными инвестициями как благодетели (*angel investor*). И то и другое — вызовы власти. Государство теперь должно контролировать границы и удерживать в своих пределах коренное население (или, наоборот, не впускать посторонних). Потому что подвластные обходят барьеры. Государству как патрону не гарантирована лояльная клиентура (*No more captive audience* — с. 72). Все знают, что есть много альтернатив и что из них легко выбрать. Как найти стимулы, если люди, деньги и идеи все время в движении? (с. 72).

Третью революцию автор называет «ментальной» (*Mentality revolution*), имея в виду необратимые и глубокие изменения в образе мыслей, чаяниях и намерениях человека, включая трансформацию ожиданий и установок по отношению к власти (падение доверия к институтам власти и к правительству). В середине 1960-х в США властям доверяли 75 проц. населения, а к началу 1980-х годов доверие упало до 25 процентов (с. 68). От власти ждут теперь прозрачности, справедливости, моральной полноценности, соблюдения прав собственности. Складывается глобальная система ценностей, и все теперь ориентируются на усиленно пропагандируемые образцы (с. 69). Ничего теперь не принимается на веру. Инстинктивного почтения к авторитету теперь больше нет. Умонастроения меняются легче, а готовность менять предпочтения возрастает. Лояльность

граждан стоит государству все дороже, а стимулы поддерживать статус-кво слабеют (с. 72). Короче говоря, перестройка ментальности разрушает барьеры, оберегающие монополию власти. Эта третья из революций «порождает скептицизм по поводу политической системы вообще» (с. 77).

Как все это похоже на лозунги горбачёвской перестройки — «разнообразие» (определенно подразумевалось), «ускорение» и «новое мышление» (громко провозглашались). Разница, впрочем, в том, что КПСС в конце 1980-х только еще призывала к переменам, а Наим говорит обо всем этом как об уже далеко зашедшем процессе. КПСС выбрала тогда неправильную модальность. Привыкнув думать, что без ее инициативы в обществе ничего не происходит, она собиралась осуществлять то, что в советском обществе, как и в западном, было уже на полном ходу, что и привело к коллапсу советской политической системы. Автор, разумеется, вспоминает этот коллапс как особо яркую иллюстрацию «загнивания» власти (с. 28, 139, 157). То, что произошло с СССР, больше всего похоже на то, чем Наим теперь грозит Западу и всему миру. Но если так, то коллапс Советского Союза оказывается не более чем предвестником коллапса всемирно-исторического. Или?

Наим далее говорит, что все три революции хорошо видны, но мало кто отдает себе отчет в их нарастающих последствиях. А между тем это меняет «условия, в которых агентуры власти реализуют ее, прибегая ко всем известным формам — принуждению, вменению в обязанность, убеждению и поощрению» (с. 73). Затем автор описывает эти новые условия в разных сферах: (1) мировой порядок, (2) национальное политическое пространство, (3) экономика.

В контексте международных отношений уже одно только «размножение» суверенных государств меняет условия оперирования властью (с. 81–82), затрудняя гегемонию. Одновременно государство перестает быть

единственным источником современной военной силы, а вместе с этим приходит конец и монополии на применение силы. Вместо этого США, например, пытаются реализовать свое влияние в бесчисленных договорах. Их список занимает том в 500 страниц (*Department of State. Treaties in Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2012*). Но активизация «мягкой силы» не очень-то компенсирует паралич «жесткой силы». Согласно всем опросам, авторитет США вновь падает после некоторого подъема, связанного с избранием Барака Обамы президентом. Многие страны сознательно пытаются теперь наращивать свою «мягкую силу», но это ненадежный ресурс, подверженный конъюнктуре (с. 147–148). В качестве симптома деградации власти Наим рассматривает и кризис классической формализованной дипломатии, на смену которой приходит быстро растущая сеть учрежденных государством негосударственных организаций (*government-organized nongovernmental organization – GONGO*). Государства их создают, так как не могут реализовать свое влияние в рамках формальной (чисто межгосударственной) системы международных отношений (с. 154).

Нечто подобное происходит и внутри государственных общностей. Партийная лояльность избирателей становится все слабее; независимых избирателей теперь больше, чем партийных. На политической арене все чаще появляются, оказывая все больше влияния, внесистемные агентуры. Автор называет их «новыми» (с. 78–79), но это отнюдь не новый, а просто, казалось бы, вымерший тип политика — «демагоги». Ставленникам истеблишмента все труднее выступать в роли лидеров. С ними успешно конкурируют любители (с. 100).

Во второй половине XX века важные выборы, если брать весь мир, проводятся дважды в месяц (с. 87). Правительства однопартийного большинства формируются все реже.

Последний раз ощутимым большинством (59 проц.) на американских президентских выборах победил Роналд Рейган в 1984-м, с тех пор результат был всегда очень близок к 50:50. Правящие партии теряют все больше голосов на следующих выборах. Все чаще правительства уходят в отставку до конца срока. Утверждение кандидатов на министерские посты теперь тянется слишком долго (с. 90–91). Праймериз — новинка в США с конца 1960-х годов (с. 93) — тоже не способствуют эффективности власти. Влияние от монолитных партий переходит теперь к внутрипартийным фракциям (с. 91–95), конкурирующим друг с другом и сменяющим друг друга. Из центра (столицы) и от центральной исполнительной власти полномочия переходят на места (с. 95). Возникают все новые электораты (с. 96), в частности в результате территориального дробления администрации, процесса федерализации и появления новых субъектов федераций (с. 96–97). Все более автономными становятся города. Интересное новое явление — решение политических проблем по суду — все чаще практикуется повсюду, особенно живописны несколько случаев такого рода в Таиланде (с. 98–99). Подобная практика еще больше ограничивает возможности исполнительной власти.

Необходимость удерживать инвесторов в стране лишает правительство значительной части инструментария экономической политики и свободы действий, а это означает ущемление экономических прерогатив государства<sup>1</sup>. Партии больше не сублимируют интересы масс, слишком для этого фрагментированных; идейное единство становится невозможно (с. 104), идейная инициатива уходит к НГО (с. 105). Протестные акции стали повседневностью. Так, в Китае фиксируется до 180 тысяч протестов в год (с. 77). В условиях гиперконкуренции на «политическом рынке» политик с амбициями вынужден теперь прежде всего заключать соглашения со смежниками и отбиваться в политическом пространстве с постоянно меня-

ющейся конфигурацией от целой армии агентур — других партий, активистов, держателей фондов, инспираторов общественного мнения, альтернативной прессы (*citizen journalists* — специфически американское явление)<sup>2</sup>, надзорных организаций и адвокатов (с. 105).

Можно было бы надеяться, что деградация политических институтов компенсируется консолидацией эффективных агентур реального господства в сфере реального ресурса власти — денег, капитала. Но Наим считает, что в области экономики наблюдаются те же тенденции. Правда, в данном случае картина, нарисованная им, выглядит менее убедительно.

В крупном бизнесе, пишет Наим, агентура на вершине теперь расширена и быстро ротируется, а свобода ее действий более ограничена, чем раньше (с. 160–162). Текучка кадров на верхних этажах крупного корпоративного бизнеса нарастает (с. 163–165). Казавшаяся еще недавно неуклонной тенденция к концентрации капитала теперь оставлена и даже повернута вспять — на этом сейчас настаивают многие исследователи<sup>3</sup>.

Тут, мне кажется, такие категорические утверждения неосторожны. Разными способами расчетов концентрации капитала можно получить разные результаты. Кроме того, господство на рынке теперь не сводится к концентрации капитала или оборота (с. 169).

Барьеры входа на рынок, продолжает Наим, становятся более проницаемы благодаря интернету и дерегуляции: 25 проц. роста международной торговли связано со снижением тарифов. Новые технологии позволяют вернуться к малоформатным предприятиям. Постоянное технологическое обновление обостряет конкуренцию и подрывает позиции на рынке старых гигантов (с. 171–174).

Все это так, но в этой сфере трудно не заметить и контртенденции — особенно в новых сферах коммерческой активности — меди, индустрии, шоу-бизнесе, спортбизнесе. Вообще, конфигурация этих экономических

пространств не вполне аналогична конфигурации сфер традиционной индустрии и нуждается в более сложных методиках описания

Доступность кредита и мультипликация агентов нововведений (с. 181–183) обостряют конкуренцию и ослабляют позиции лидеров. Хедж-фонды на традиционных финансовых рынках выглядят, как остроумно подметил Наим, такими сомалийскими пиратами рядом с современным флотом (с. 191).

Так-то оно так, но как насчет концентрации финансового капитала, раздающего кредиты? А будущее хеджирования и в особенности отношений между хедж-фондами и традиционным финансовым капиталом пока туманно.

Растет доля нематериальных фондов, где бренд составляет до 70 проц. (Макдональдс) стоимости фирмы. Это, как думает автор, помогает деконцентрации (с. 175), поскольку бренды труднее защищать, чем материальные фонды: новые агентства на рынке наводняют его новыми именами (с. 179–180).

Это, боюсь, не совсем очевидно.

Концентрация символического капитала — малоисследованное явление. Потребитель консервативен и конформен — он тянется к готовым репутациям; новые звезды на рынке культоваров загораются пачками каждый день, но тут же гаснут. Поэтому так распространена практика подделок и имитаций.

Наоборот, вполне очевидно, что деконцентрации способствует аутсорсинг, но не вполне ясно будущее самого аутсорсинга. Из Америки поступает все новая информация о возвращении на родину производств, ранее экспортированных. Не говоря уже о том, что крыша рассеянных производств остается та же.

Появляются новые хозяйственные агентства на базе новых ресурсов — это пока тоже ведет к деконцентрации, но остается неизвестно, в какой мере сами эти новые ресурсы будут склонны к концентрации (с. 176–177).

Понятие «естественная монополия», как замечает автор книги, теперь исчезло из эко-

номического лексикона (с. 178), а она была нерушимым оплотом концентрации. Нельзя не согласиться, что целый ряд считавшихся неделимыми производств и услуг с 1980-х годов подвергся расчленению, но результаты получились неоднозначные, и обратная тенденция вовсе не исключена. Не говоря уже о том, что могут появиться новые сферы господства естественных монополий.

Парадокс в том, что корпорации становятся все крупнее, возникают все чаще и являются политически влиятельными, но в то же время и более неустойчивыми (с. 191). Похоже на правду, но в ходе недавнего кризиса как будто обнаружилось обратное. Целый ряд финансовых агентств оказались слишком крупными, чтобы можно было допустить их банкротство и ликвидацию.

Картина в сфере экономики, таким образом, совсем не так однозначна, как в политике и как это выглядит у Наима. Из-за этого позволительно предположить, что «власть» не столько «загнивает», сколько все больше переходит в другое пространство — пространство финансового капитала, что издавна вызывало такое недовольство у марксистов и к чему так одобрительно относился, например, радикальный либертариий Фридрих фон Хайек, мечтавший о метаморфировании общества в рынок.

Но, несмотря на все сомнения, я не буду сейчас обсуждать эту сторону дела, а все-таки *ad hoc* соглашусь с суждением Наима по поводу общей тенденции в обществе: если не все, то очень многие поля неизменного господства стали сферой непрерывного конфликта между более сопоставимыми по оперативным возможностям агентствами — конкуренции и сопротивления. Вопрос в том, как к этому относиться

Усматривая во всем этом приближение «конца власти», Наим не скрывает своего беспокойства. Власть, говорит он, имеет социальную функцию: она нужна не только для доминирования — она организует сообщество (с. 17). Деградация власти, говорит Наим,

можно было бы только радоваться. Страны, где были деспотические (авторитарные) режимы, демократизируются и либерализуются.

Но и демократиям это бросает вызов (с. 106). Там, где все могут блокировать все что угодно, тормозятся или не принимаются вообще нужные решения и наступает паралич (с. 18). И чем более неуверена в себе и чем больше дает осечек власть, тем больше мы все вынуждены руководствоваться краткосрочными стимулами и опасениями и тем меньше способны планировать наперед свои действия и определять свое будущее (там же). В таких условиях правительства теряют эффективность. Нагнетается экстремизм. Нарастает сетевая какофония. Процветает жульничество, поскольку снижается уровень социального контроля — важнейшей функции современного государства. Конкуренция истощает и разрушает ее участников. Наблюдается перебор сдержек и противовесов (с. 221–227). Возрастает опасность патологий, среди которых: (1) беспорядок и застой; (2) декалфикация кадров и потеря знания; (3) банализация общественных движений, особенно легко симулируемых в интернет-сетях, чему придумана эффектная этикетка *slacktivism*<sup>4</sup>; (4) сеть с ее шумом и отвлечениями затрудняет становление серьезных политических сил и поощряет краткосрочную вовлеченность; (5) отчуждение (с. 227–232).

Все это вместе означает нарастание хаоса и обозначается словом «энтропия». Оно и появляется в книге, хотя и не более как реминисценция<sup>5</sup>. Отсюда, как говорит сам Наим, «центральная идея его книги»: «чрезмерное ослабление власти и неспособность власть имущих властвовать (*leading actors to lead*) столь же опасны, как и концентрация власти в руках немногих» (с. 224–225). Это представление, безусловно, исполнено здравого смысла, и нет никаких оснований его оспаривать. Но какое ослабление власти нужно считать чрезмерным? И можно ли считать, что нарастание беспорядка (энтропия) есть эпифеномен ослабления власти?

Во-первых, оба этих процесса очень трудно измерить. Особенно интуитивно предполагаемое нарастание энтропии. Разве можно с уверенностью сказать, что мир, терзаемый «Аль-Каидой», менее упорядочен, чем мир двух мировых войн?

Во-вторых, если мы все же будем считать, что беспорядок нарастает, то само по себе это не обязательно означает, что власть исчезает. Патологии, на которые указывает автор, можно, если угодно, объяснить не дефицитом власти, а, наоборот, ее избытком, то есть не ослаблением агентур легитимной власти, а их сохраняющейся до сих пор чрезмерной полномочностью. Особенно, если считать «власть» синонимом «господства». Кстати, сейчас именно такое представление и доминирует, с чем Наим и пытается бороться.

Руссоисты, анархисты и коммунисты всегда настаивали, что вообще все беды в обществе и нарастание его энтропии происходят от отношений господства. Они связывали «загнивание» позднего капитализма именно с концентрацией капитала. Мелкая буржуазия сопротивлялась. Фритц Шумахер в 1960-е годы провозгласил, что *small is beautiful*. Самому Веберу, при всей его зачарованности бюрократией и харизмой, было неспокойно. Среди скептиков оказался и президент Дуайт Эйзенхауэр, осуждавший «неподобающее влияние военно-промышленного комплекса» (с. 49). Не обязательно придерживаться подобного взгляда, но и игнорировать аргументы этого подхода тоже нельзя.

Что именно происходит сейчас и каков пока баланс происходящего, еще не очень-то понятно. Кризис порядка, гарантируемого институционализированными отношениями господства, как будто хорошо заметен, а вот как он будет преодолеваться, неизвестно. Наим завершает свои рассуждения о «конце власти» так: «Мы накануне революционной волны позитивных политических и институциональных новаций» (с. 243). И далее:

«Новая волна обновления политической сферы набирает высоту, и она будет покруче предыдущей» (с. 244). «Предыдущая», надо полагать, это волна «модернизации» XVII—XIX веков. Как же мир в результате этого обновления будет выглядеть? Каким он представляется самому автору?

В сфере мирового порядка, по мнению Наима, рассчитывать на то, что когда-то появится новый гегемон и восстановит контроль, — пустое дело. Более вероятно, считает он, *coalition of the willing*, действующая в обход международных организаций и напрямую, как США в Ираке. Такие коалиции могут быть постоянными или временными, и в них могут входить или самые заинтересованные, или самые дееспособные участники; они могут иметь широкую либо узкую программу действий. Этот вариант он называет «минилатерализмом» (с. 156), <sup>6</sup>.

В сфере национальной политической жизни требуется, чтобы «демократические общества были готовы предоставить больше власти тем, кто правит», хотя это «очень трудно сделать» (с. 237). Для этого необходимо вернуть доверие граждан к политической сфере и политическим лидерам. Далее, для этого надо укрепить политические партии. Они утратили теперь авторитет — объяснимо и заслуженно (яркие примеры Италия, Россия, Венесуэла), но движения и НГО их не заменяют. Надо бы вовлечь людей в партийно-политическую активность. Партии должны изменить способы рекрутирования, организационную структуру и оперативные методы.

Итак, обновление пространства власти означает коллективную гегемонию в мире и усовершенствованную партократию. Это либерально-консервативный взгляд. Хотя бы уже потому, что он больше похож на реставрацию, чем на реформирование пространства власти. Но он консервативен по духу еще и потому, что в его основании лежит консервативное представление о господстве как гаранте порядка.

Похоже, что в России, опередившей (в бытность свою СССР) остальной мир в том, что касается «деградации» власти, теперь правят единомышленники Наима, спохватившиеся, что процесс зашел слишком далеко, и опять раньше всех повернувшие обратно. Было бы интересно знать, как к этой реставрации отнесётся Наим.

Наим согласен, что порядок может подерживаться на основе отношений не только господства, но и сотрудничества агентур, соблюдающих общие для всех правила. Есть много способов, говорит он, поддерживать порядок в среде, где власть рассеяна, текуча и деградирует. Это — федерализм, политические союзы и коалиции, международные организации, согласованные и навязанные сверху правила и нормы, сдержки и противовесы между разными отраслями правительства, моральные и идеологические обязательства в парадигмах христианства, ислама, социал-демократии или социализма. Все это уже было со времен греческих городов-государств (с. 225).

Но далее следуют скептические оговорки. Упадок власти обостряет и усложняет проблему коллективных действий тоже. Это особенно заметно на международной арене. Коллективное действие всегда тормозится тем, что все выжидает в надежде на то, что кто-то один возьмет на себя расходы и ответственность (с. 226–227). Но и эта возможность блокируется деградацией власти, потому что, во-первых, другие нации способны все больше не подчиняться, и, во-вторых, сами коалиции очень неустойчивы и внутри себя расколоты (с. 225–227).

Или, можно добавить, наоборот, действующие лица не доверяют друг другу, и в особенности слабые — сильным.

Нынешние процедуры принятия коллективных решений таковы, что, как правило, нужные решения блокируются или тормозятся регулярными вето, длительными обсуждениями и согласованиями. Парадокс в том,

что именно многочисленные международные организации оказываются главными очагами бездействия (с. 152). Международные организации типа ООН и Бреттон-Вудских, созданные после Второй мировой войны, запаздывают со своими решениями и не имеют достаточных полномочий для их выполнения.

Так или иначе, существующие практики сотрудничества неэффективны. Тезис «конец власти» относится и к ним. И следует вывод: «Значит ли это, что мы неуклонно движемся к новому состоянию войны всех против всех, как это выглядит у Гоббса? Придется ответить “да”, если мы так и неотреагируем на загнивание власти и не признаем, что нынешние способы международного сотрудничества, как межправительственного, так и внеправительственного, должны быть изменены» (с. 158).

Автор совершенно прав, когда утверждает, что общественная рефлексия сейчас неадекватна этой проблеме. И чтобы продвинуться вперед, прежде всего, предстоит изменить содержание разговора о власти (*refocus the conversation*). Как он надеется, именно этому «помогает его тезис» (с. 141), поскольку расходит с господствующим представлением

(с. 9). Соответственно, «понимание, что власть деградирует, — это первый шаг вперед к заново рожденному миру» (с. 19).

Дает ли нам понятие «конец власти» («загнивание власти») какие-то значительные интеллектуально-познавательные преимущества, я не вполне уверен. Мне кажется, что для этого более продуктивна казуистика вокруг соотношения понятий «власть» и «порядок», а также вокруг связи феномена власти с отношениями господства и кооперации. Будущее покажет, будет ли тезис «конец власти» востребован для нашего познавательного дискурса. Но независимо от этого заявленный тезис Мосеса Наима — сильная интеллектуально-политическая провокация, и она продуктивна для мобилизации общественного мнения. Каким стало в свое время заявление Фукуямы о «конце истории». Обе эти формулы имеют ту же поэтику, что и формула «конец света», а она поддерживает среди людей атмосферу бдительности и, стало быть, не дает заржаветь гомеостатическому механизму общества уже не одно тысячелетие. *Lordre est mort? Vive l'ordre.* ■

АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ

**ПРИМЕЧАНИЯ** <sup>1</sup> Автор ссылается на важную работу: *Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy* / L. Diamond, M. F. Plattner (eds). Johns Hopkins Univ. Press, 2012 (*A Journal of Democracy Book*). P. 102.

<sup>2</sup> <http://journalism.about.com/od/citizenjournalism/a/whatiscitizen.htm>

<sup>3</sup> См., например: *Ghemavat P. World. 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It*. Boston: Harvard Business Review Press, 2011.

<sup>4</sup> Термин Евгения Морозова (Evgeny Morozov), автора книги «*The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*» (Public Affairs, 2011). Образован путем слияния сленгового слова *slacker* (англ. лентяй, разгильдяй, халтурщик) и *activity*. Селективизм «означает деятельность,

которая заключается в простом клике мышкой. То есть подлинная общественная активность подменяется неким фантомом, когда человеку кажется, что достаточно кликнуть мышкой, чтобы почувствовать свою общественную значимость. Пресловутые лайки, которые ставит пользователь, сидя на диване, стали символом подмены реальных действий» (<http://polemika.com.ua/news-86720.html>).

<sup>5</sup> Автор ссылается на интересную статью: *Schweller R. Ennui Becomes Us* // *The National Interest*. 2009. Dec. 16.

<sup>6</sup> В статье «Кем и как управляется мир» я пользовался этикетками «имперский концерт» и «всемирно-имперский клуб». См.: *Pro et Contra*. Т. 11. № 6. 2007. Ноябрь.—дек. С. 6—19.